

A man and a woman in 19th-century attire standing in a field. The man is wearing a dark blue coat and a black hat, and the woman is wearing a dark blue dress with a white lace collar. They are both looking towards the camera with serious expressions. The background is a blurred field of tall grass.

Алая печать

Радик Яхин

Радик Сайфетдинович Яхин

Алая печать

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73420293

SelfPub; 2026

Аннотация

Историческая драма о Кристи Лопас, осуждённой пуританской общиной за прелюбодеяние: в наказание она должна носить алую букву «А» – клеймо позора. В изоляции и под гнётом осуждения героиня сохраняет достоинство, учится проявлять милосердие и бороться за своё счастье – рядом с ней священник Дуглас Рейн, чья любовь становится для него испытанием веры и долга.

Изгнанные из общины, Кристи и Дуглас проходят путь лишений и духовных кризисов – от выживания в дикой природе до жизни в Европе и возвращения на родину. Постепенно они меняют мир вокруг: создают общину милосердия, открывают школу и больницу, смягчают жестокие законы.

«Алая печать» – история о том, как клеймо позора превращается в знак мужества, а личная трагедия становится источником силы для других. Повествование о прощении, сострадании и свободе, которая начинается с освобождения души.

Радик Яхин

Алая печать

Зимний свет сочился сквозь мутные стёкла собрания, ложился серыми пятнами на грубо струганные доски пола, на суровые лица мужчин в чёрных одеждах, на побелевшие костяшки рук Кристи Лопас, вцепившихся в скамью подсудимых. В воздухе пахло промёрзлой шерстью, потом страха и тем особенным холодом, который исходит не от ветра, а от человеческих сердец, когда они закрываются для милосердия.

Судья Элиша Уэнтворт, человек с лицом, изрезанным глубокими морщинами, точно русло пересохшей реки, поправил очки в железной оправе. Перед ним лежала раскрытая Библия и лист бумаги, исписанный витиеватым почерком секретаря. Он прокашлялся, и звук этот прокатился под сводами зала, как первый удар молота по гробовой крышке.

– Кристи Лопас, – голос его был ровен и лишён всяких эмоций, словно он зачитывал не приговор живой душе, а перечень цен на привозной товар. – Ты обвиняешься в тягчайшем грехе, мерзости перед Господом нашим, в попрании святости брачного союза. В прелюбодеевании. Члены общины, избранные Богом для хранения чистоты веры и нравов, представили свидетельства твоего падения. Чистое зачатие без участия законного супруга, пребывавшего в отлучке по

делам торговым, есть доказательство, не требующее иных подтверждений. Ребёнок, рождённый тобою, носит на себе печать греха. Что ты можешь сказать в своё оправдание?

Кристи подняла голову. Ей было двадцать три года, но в это мгновение она чувствовала себя древней, как те камни, что лежат на дне высохших колодцев. Тёмные волосы, выбившиеся из-под чепца, падали на лоб, на глаза цвета тёмного мёда, в которых не было слёз – только ровное, обжигающее пламя, которое слёзы давно выжгли дотла. Она смотрела прямо на судью, и взгляд её не был взглядом кающейся грешницы.

– Я не назову имени, – сказала она тихо, но в напряжённой тишине каждое слово било наотмашь. – Ибо тот, кто разделил со мной этот грех, не предстал здесь рядом со мной. Имя его останется со мной, как останется со мной и дитя моё. Если это грех – то грех мой, и только мой. Господь видит моё сердце. Вам же я скажу только то, что вы и без меня знаете: дитя родилось, дитя живёт, и я буду кормить его своей грудью, покуда Бог даёт мне силы.

По рядам собравшихся прокатился ропот. Женщины в тёмных платьях отворачивали лица, закрывая рты ладонями. Мужчины хмурили брови, переглядывались, качали головами. Эта девушка, эта дочь почтенных родителей, воспитанная в страхе Божьем, осмеливалась не рыдать, не молить о пощаде, не валяться в ногах у старейшин – она стояла прямо, и в глазах её горел вызов, который пугал их сильнее любого

признания.

Судья Уэнтворт нахмурился. Он привык к слезам. Суд над грешниками был для него работой, рутинной, необходимой частью поддержания порядка в общине, которую Бог поселил на этой дикой земле, окружённой лесами и язычеством. Женщины обычно плакали. Мужчины опускали глаза. Дети боялись. Но это существо, стоящее перед ним, не вписывалось в привычную картину.

– Гордыня, – прошептал кто-то сзади. – Сатанинская гордыня.

– Ты отказываешься назвать имя соблазнителя? – переспросил судья, и в голосе его впервые проскользнула тень раздражения. – Ты понимаешь, девочка, что тем самым лишаешь себя единственной возможности смягчить приговор? Община милостива к тем, кто приносит полное покаяние.

Кристи покачала головой. Один жест – и тёмные волосы упали на щёку, скрывая её выражение.

– Я уже сказала. Грех мой. Искупление моё. Имени не будет.

В первом ряду, справа от кафедры, сидела женщина лет пятидесяти, с лицом, выточенным из дуба временем и непогодой – вдова Патнэм, чей муж пять лет назад был съеден волками в лесу, а она не проронила тогда ни слезинки, сказав только: «Бог дал, Бог взял». Сейчас её тонкие губы были сжаты в нитку, а глаза, маленькие и острые, как гвозди, свер-

лили Кристи, пытаясь найти в ней следы той самой дьявольской печати, о которой проповедовал в прошлое воскресенье приезжий пастор из Бостона.

– Позор на всю общину, – прошелестела она, не разжимая губ, обращаясь к соседке, жене кузнеца Марте Грей. – Девочка росла у всех на глазах. Мы крестили её. Мы видели, как она причащается. И вот – плод. Гнилой плод на здоровом дереве. Надо вырывать с корнем.

Марта Грей, женщина мягкосердечная, когда-то давшая Кристи кусок хлеба для голодной собаки, опустила глаза в пол. Ей было жаль эту девушку, жаль до слёз, но сказать об этом вслух значило бы навлечь на себя подозрения. А подозрения в этой общине стоили дорого. Заподозренный в мягкости к греху сам становился грешником. Она молчала, и молчание её было громче любого приговора.

Позади, на скамьях, где стояли мужчины, молодой подмастерье сапожника, Сэмюэль Браун, пытался поймать взгляд Кристи. Ему было девятнадцать, и тайком от матери он читал стихи, которые считал греховными, и смотрел на Кристи каждый раз, когда она проходила мимо мастерской. Сейчас он видел, как тонка её шея, как высоко она держит голову, и чувствовал в груди странную боль, смешанную с восторгом. Она была падшей. Она была проклятой. Но никогда ещё она не казалась ему такой прекрасной. Он тут же испугался этой мысли и перекрестился, шепча молитву против искушения.

Старейшина Джозеф Принн, седой как лунь, с трясущи-

мися руками, но острым умом, хранившим все тайны общины за последние сорок лет, наклонился к уху судьи.

– Элиша, – проскрипел он. – Молчание её опаснее признания. Если она не назовёт сообщника, люди начнут гадать. А гадания ролят слухи. А слухи разъедают общину, как ржавчина железо. Надо выбить из неё имя.

– Как? – так же тихо ответил судья. – Пытками? Мы не паписты, Джозеф. У нас нет застенков.

– У нас есть Бог, – усмехнулся старик беззубым ртом. – И есть время. И есть ребёнок.

Судья поморщился, но ничего не сказал. Он знал, что старейшина прав. Община жила страхом. Страх перед дикой природой, перед индейцами, перед голодом, перед гневом Божьим – этот страх был тем клеем, который держал людей вместе, не давая разбежаться по лесам в поисках лучшей доли. Грешник, который не кается и не называет сообщника, – это брешь в стене. Это доказательство того, что можно нарушить закон и не раздавиться тяжестью вины. Этого нельзя было допустить.

– Кристи Лопас, – судья повысил голос, перекрывая ропот. – В последний раз спрашиваю тебя перед лицом Бога и этих свидетелей: кто отец твоего ребёнка?

Она посмотрела на него, и в глазах её вдруг блеснуло что-то похожее на сострадание. Будто она, грешница, стоящая перед судом, жалела его, судью, праведника.

– Вы спрашиваете, потому что должны, – сказала она ти-

хо. – Я молчу, потому что должна. Мы все делаем то, что должны. Произносите приговор.

В зале повисла тишина, такая густая, что было слышно, как потрескивает фитиль в масляной лампе и как за стеной ветер гоняет сухие листья, первые вестники приближающейся зимы.

Судья Уэнтворт откинулся на спинку тяжёлого дубового кресла. Руки его легли на подлокотники, и костяшки побелели – он сжимал их с силой, которой сам от себя не ожидал. Этот разговор вымотал его больше, чем неделя пути верхом под осенним дождём. Он чувствовал, что проигрывает, хотя власть была на его стороне.

– Община пришла к решению, – начал он, и голос его звучал торжественно, как и подобает при произнесении приговора. – Ты, Кристи Лопас, будешь носить знак своего греха до конца дней своих, дабы всякий, видя тебя, помнил о падении человеческом и о милосердии Божьем, которое одно лишь может спасти грешника от геенны огненной.

Он сделал паузу, обводя взглядом зал, проверяя, все ли внимают должным образом.

– На груди твоей, на платье, отныне и навеки будет нашита буква «А». Алая печать. Цвет крови Христовой, пролитой за грехи наши, но также и цвет стыда, который должен жечь твою плоть день и ночь. Ты будешь стоять у позорного столба три часа в ближайшую субботу, дабы все видели твой позор.

И после этого ты будешь жить среди нас, но жить как предостережение. Как голос, говорящий: «Не прелюбодействуй».

Кристи молчала. Она смотрела куда-то в окно, на серое небо, где пролетала одинокая ворона, и, казалось, думала о чём-то своём, далёком от этого зала, от этих людей, от этого приговора.

– Ребёнок твой, – продолжил судья, и голос его дрогнул, потому что даже ему, привыкшему ко всему, было трудно произносить эту часть приговора. – Ребёнок твой будет отнят у тебя и передан на воспитание в семью, достойную доверия, дабы не впитал он греха твоего с молоком материнским. Ты будешь видеть его раз в месяц, в присутствии опекунов, и молиться о его спасении.

Тут Кристи вздрогнула. Впервые за весь суд. До этого момента она была статуей, иконой, высеченной из камня. Но при словах о ребёнке статуя ожила, и в глазах её вспыхнул такой огонь, что судья невольно отшатнулся.

– Нет, – сказала она, и голос её был тих, но в нём звучала такая сила, что мужчины в задних рядах перестали перешёптываться. – Ребёнка вы не возьмёте. Я кормила его своей кровью, своим молоком, своим дыханием. Он – часть меня. Если я грешница – пусть он будет грешником. Но он будет моим.

– Приговор не обсуждается, – отрезал судья, хотя внутри у него всё похолодело. – Ты лишена права голоса. Ребёнок будет передан в семью кузнеца Грея, ибо жена его, Марта, из-

вестна своей добродетелью и сможет воспитать дитя в страхе Божьем.

Кристи рванулась вперёд, но двое стражников, стоявших по бокам, схватили её за плечи и удержали на месте. Она не кричала, не билась. Она только смотрела на Марту Грей, и во взгляде этом была такая мольба, что Марта не выдержала – отвернулась, пряча слёзы, которые жгли ей веки.

– Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, – закончил судья и стукнул кулаком по столу. – Суд окончен. Уведите осуждённую.

Когда стражники вели её по проходу между скамьями, Кристи чувствовала на себе сотню взглядов. Одни были полны злорадства, другие – страха, третьи – любопытства, как у детей, глядящих на пойманного зверька. Но она не видела их. Внутри неё бушевала буря, которую никто не мог заметить снаружи.

Мысли путались, скакали, обгоняли друг друга. Ребёнок. Маленький тёплый комочек, который остался у соседки, у доброй женщины, которая согласилась присмотреть за ним на время суда. Грудной младенец, ещё не получивший имени, потому что Кристи всё откладывала крещение, надеясь, что отец всё же решится признать дитя. Глупая надежда. Женская надежда, которая сильнее разума.

Она вспомнила его лицо. Дуглас Рейн, священник, пастырь этой общины, человек, чьи проповеди заставляли серд-

да биться чаще, чей голос звучал в ночи, когда она не могла уснуть. Она вспомнила его руки – тонкие, длинные пальцы, которые так же легко перелистывали страницы Священного Писания, как и гладили её волосы в те редкие минуты, когда они оставались одни в маленькой лесной часовне, куда никто не заходил по будням.

«Он придёт, – думала она, ступая по доскам, которые, казалось, хотели провалиться под её ногами. – Он не может не прийти. Он обещал».

Но где-то в глубине души, в том тёмном углу, куда Кристи боялась заглядывать, жил холодный голос: «Он не придёт. Ты всегда знала, что он не придёт. Священник не может признать ребёнка. Священник не может стоять на позорном месте рядом с падшей женщиной. Ты для него – грех. Ты для него – падение. Ты для него – тайна, которую надо похоронить, а не дитя, которое надо воспитать».

Она сжала зубы так сильно, что челюсть заныла. Гордость – вот что оставалось у неё. Гордость и молчание. Пусть думают что хотят. Пусть клеймят. Пусть отнимают дитя. Она не даст им удовольствия видеть её слёзы.

На улице моросил мелкий холодный дождь. Осень в этом году выдалась ранняя, злая, с ветрами, которые, казалось, дули прямо из преисподней. Кристи подставила лицо дождю, и капли смешались с теми слезами, которые она всё-таки не смогла удержать, – с теми, что текли внутрь, сжигая горло, грудь, душу.

Стражники, два парня, которых она помнила ещё мальчишками, бегавшими босиком по пыльной дороге, вели её к маленькому домику на краю общины, где ей предстояло жить до субботнего позора. Они молчали, потому что не знали, что говорить. Им было неловко. Она чувствовала эту неловкость и презирала их за неё.

– Оставьте меня, – сказала она, когда они подошли к двери. – Я не сбегу. Куда мне бежать? В лес, к волкам? К индейцам, которые сдерут с меня скальп быстрее, чем вы успеете прочитать «Отче наш»? Я здесь. Я своя. Ваша. Алая.

Последнее слово она выплюнула с такой горечью, что парни отшатнулись. Один из них, тот, что помоложе, покраснел до корней волос и пробормотал что-то невнятное. Они ушли, оставив её одну перед дверью, за которой не было ничего, кроме пустоты и запаха сырой древесины.

Кристи толкнула дверь. Внутри было темно, холодно, пахло мышами и плесенью. Кто-то поставил на стол глиняную миску с водой и ломоть чёрствого хлеба. Кто-то постелил на лавку тощее одеяло. Кто-то – может быть, та же Марта Грей, которая скоро заберёт её ребёнка, – проявил эту каплю милосердия, которая жгла сильнее любой жестокости.

Она опустилась на колени прямо на холодный земляной пол, не чувствуя боли. Руки сами сложились для молитвы, но слова не шли. В голове было пусто, только сердце билось глухими ударами, отсчитывая секунды до того момента, когда придёт женщина и заберёт её дитя.

– Господи, – прошептала она наконец в темноту. – Если Ты есть, если Ты слышишь – за что? Я любила. Я люблю. Разве любовь – грех? Разве Ты не любовь?

Темнота молчала. Только ветер завывал в щелях, и где-то далеко, в лесу, закричала ночная птица – резко, тоскливо, как душа, потерявшая надежду.

В заднем ряду, в тени, отбрасываемой массивной балкой, стоял человек, закутанный в тёмный плащ с капюшоном, надетым так низко, что лица не было видно. Он не шевелился всё время, пока длился суд, и только когда Кристи вывели, он слегка повернул голову, провожая её взглядом.

Никто не обращал на него внимания. В такой день каждый был занят собой, своим грехом, своим страхом. Никто не смотрел по сторонам, не искал чужаков. А если бы и посмотрели – что они увидели бы? Просто человека в плаще, каких много. Может быть, приезжий торговец, случайно зашедший поглазеть на праведный суд. Может быть, фермер с дальних выселок, приехавший по делам.

Но это был не торговец и не фермер.

Дуглас Рейн стоял, прислонившись спиной к холодной стене, и чувствовал, как стена эта давит на лопатки, как давит на душу весь этот зал, весь этот суд, вся эта жизнь, которую он построил на лжи. Он слышал каждое слово. Видел каждое движение Кристи. Заметил, как дрогнули её ресницы, когда судья произнёс имя Марты Грей.

Внутри у него всё кричало. Рвалось наружу. Хотелось выбежать вперёд, упасть на колени перед всем собранием и закричать: «Это я! Я отец! Судите меня! Клеймите меня! Я согрешил, я соблазнил, я обещал, я не сдержал обещания!»

Но ноги не двигались. Язык прилип к гортани. Страх – липкий, холодный, скользкий – обвился вокруг шеи удавкой и душил, душил, душил.

Он боялся не позора. Не клейма. Не тюрьмы. Он боялся Бога. Или, точнее, того образа Бога, который сам создал в своей голове за годы служения. Бога карающего, Бога ревнивого, Бога, который не прощает слабости своим служителям. Если священник падает – значит, вера его была ложной. Значит, все его проповеди – пустой звук. Значит, люди, которых он привёл к Богу, теперь будут прокляты вместе с ним, потому что проводник оказался самозванцем.

Эта мысль была невыносимее любой другой.

Он смотрел, как Кристи выходит, прямая, гордая, несломленная. И впервые за долгие годы понял, что такое настоящая вера. Вера – это не проповеди с кафедры. Вера – это стоять под градом обвинений и не сломаться. Вера – это молчать, чтобы спасти другого, даже если этот другой не заслуживает спасения.

Он заслуживал? Дуглас Рейн, священник, любовник, трус, стоящий в тени и сжимающий кулаки так, что ногти впиваются в ладони до крови, – заслуживал ли он этого молчания?
– Прости меня, – прошептал он одними губами в тот мо-

мент, когда дверь за Кристи закрылась. – Прости меня. Я найду способ. Я всё исправлю.

Но в глубине души он знал: исправить ничего нельзя. Можно только жить дальше с тем, что сделал. Или не жить.

Он выскользнул из зала незаметно, растворился в серой мгле дождливого дня, как тень, как призрак, как человек, которого больше не существует. Только под плащом, на груди, там, где никто не мог видеть, лежала маленькая прядь тёмных волос, перевязанная красной ниткой. Он носил её всегда, с самого первого дня, когда Кристи отдала её ему, смеясь: «Чтобы ты помнил, какие они, грешные волосы, когда будешь проповедовать о святости».

Он помнил. Он помнил каждую секунду.

Субботнее утро встало хмурое, тяжёлое, с низкими тучами, которые, казалось, касались крыш домов. Ветер стих, и это было хуже всего – тишина давила на уши, обещая что-то неотвратимое, как само правосудие.

Кристи проснулась до рассвета. В маленьком домике, куда её поместили, не было ни свечей, ни тепла, только та же миска с водой и тот же чёрствый хлеб, к которому она так и не притронулась. Она лежала на лавке, укрытая тощим одеялом, и смотрела в потолок, где меж досок виднелось серое небо.

Мысли о ребёнке не отпускали ни на минуту. Марта Грей пришла вчера вечером, как и обещали. Вошла без стука, с

опухшими от слёз глазами, и молча протянула руки. Кристи отдала дитя – маленький тёплый свёрток, который пах молоком и жизнью, – и не проронила ни звука. Только поцеловала в лоб, в крошечную ямочку между бровями, и прошептала: «Я вернусь за тобой. Жди».

Марта взяла ребёнка осторожно, будто стеклянного, и ушла, не оборачиваясь. Дверь закрылась, и Кристи осталась одна в темноте, слушая, как затихают шаги. Тогда только она позволила себе упасть на колени и завывать – беззвучно, чтобы никто не слышал, чтобы никто не пришёл на этот вой, как приходят на крик раненого зверя, чтобы добить.

Теперь, на рассвете, она встала, потому что надо было вставать. Потому что сегодня – позорный столб. Потому что сегодня она впервые наденет алую букву.

На столе лежал свёрток – кто-то принёс его ночью, подсунил в щель под дверь. Кристи развернула грубую холстину и замерла. Внутри лежало платье – простое, серое, из некрашеной шерсти, но чистое и, кажется, новое. А поверх платья – кусок алой ткани, вырезанный в форме буквы «А». Буква была крупная, в ладонь величиной, с грубо обмётанными краями. Кто-то потрудился, чтобы этот знак был замечен издалека.

Она взяла букву в руки. Ткань была жёсткой, колючей, пропитанной чем-то – может быть, краской, может быть, кровью, если верить старым легендам о таких клеймах. Кристи поднесла её к лицу, понюхала. Пахло железом и поче-

му-то мёдом. Странный запах, необъяснимый.

Она надела платье. Оно оказалось впору – видно, шили на неё, по её меркам, которые кто-то хорошо знал. Серый цвет сливался с утренним сумраком, делал её невидимкой. Но алая буква – она горела в руках, даже в полутьме, даже без солнца.

Кристи приложила её к груди, туда, где под тканью билось сердце. Примерилась. Пальцы дрожали, но не от холода. От того странного чувства, которое она не могла назвать. Не страх. Не стыд. Что-то другое. Может быть, вызов. Может быть, принятие. Может быть, понимание, что отныне это – часть её, как ребёнок, как любовь, как грех.

Она пришила букву кривыми стежками – нитки и игла тоже лежали в свёртке, заботливо вдетые в холстину. Кто-то подумал обо всём. Кто-то хотел, чтобы она была готова. Дуглас? Нет, он не посмел бы. Слишком рискованно. Слишком явно. Кто-то другой, кто жалел её тайно, боясь признаться в этом даже себе.

Когда буква была пришита, Кристи подошла к тазу с водой – той самой, что стояла с первого дня. Вода застоялась, покрылась плёнкой, но другого зеркала не было. Она наклонилась, вглядываясь в тёмное отражение, и увидела женщину с бледным лицом, тёмными кругами под глазами и алой буквой на груди. Буква горела, даже в мутной воде. Горела, как клеймо. Как знак. Как печать.

– Теперь ты – Алая, – сказала она своему отражению. –

Носи. Неси.

Когда Кристи вышла из дома, солнце уже поднялось, но свет его был холодным, осенним, безжалостно ярким. Она шла по главной улице посёлка к площади, где стоял позорный столб, и каждый шаг давался с трудом, будто ноги вязли в грязи, хотя земля была твёрдой после ночного морозца.

Люди выходили из домов. Кто-то нёс вёдра с водой, кто-то вёл коров на пастбище, кто-то просто стоял на пороге, грея руки о кружку с горячим сидром. И все – все до единого – оборачивались на неё. Взгляды впивались в алую букву, как иглы, как гвозди, как те самые стрелы, которыми, по преданию, был убит святой Себастьян.

Одна женщина, молодая, с ребёнком на руках, перешла на другую сторону улицы, чтобы не проходить мимо. Мужчина с телегой, гружённой дровами, остановил лошадь и смотрел в упор, не скрывая любопытства, пока Кристи не поравнялась с ним. Тогда он сплюнул под ноги и дёрнул поводья, заставляя лошадь тронуться, обдав её грязью из-под колёс.

Дети – те были честнее взрослых. Маленькая девочка лет пяти, дочка пекаря, выбежала навстречу, чтобы рассмотреть поближе, но мать выскочила следом, схватила её за руку и втащила обратно в дом, хлопнув дверью так, что задребезжали стёкла. Из-за занавески выглянуло детское личико – и тут же исчезло.

Кристи шла, глядя прямо перед собой. Она не опускала

глаз, не прятала букву, не пыталась прикрыть её плащом, хотя плащ был – тот самый, что дали ей вместе с платьем. Она могла бы накинуть его, скрыть алое пятно, сделать вид, что ничего не случилось. Но какой смысл? Спрячешь букву – не спрячешь правду. А правда была в том, что она стояла на этом суде и не отреклась. Правда была в том, что она будет стоять у позорного столба и не сломается. Правда была в том, что она – Алая, и пусть весь мир видит это.

У колодца, куда она подошла, чтобы напиться, стояли три женщины, те самые, что были на суде. Вдова Патнэм, жена кузнеца Марта Грей (с чужим ребёнком на руках – Кристи узнала свой свёрток и чуть не задохнулась от боли) и ещё одна, молодая, незамужняя, которую звали Эбигейл Уильямс. Они замолчали, когда Кристи приблизилась, и смотрели на неё, как на прокажённую.

– Воды, – сказала Кристи, останавливаясь в двух шагах от них. Голос звучал хрипло – она не говорила вслух со вчерашнего вечера.

Марта Грей вздрогнула и инстинктивно прижала ребёнка крепче к груди. Кристи видела, как зарозовели её щёки, как опустились глаза. Она не осуждала Марту. Та делала то, что велел муж, что велела община, что велел страх. Но видеть своё дитя в чужих руках, чувствовать, как чужое молоко (или коровье, или козье – неважно) питает его вместо её собственного, – это было пыткой, страшнее любого позорного столба.

Вдова Патнэм шагнула вперёд, загоразивая колодец.

– Ступай прочь, – сказала она жёстко, как отрезала. – Здесь не место таким, как ты. Осквернишь воду – люди пить не смогут.

– Вода – Божья, – тихо ответила Кристи. – Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Или вы с Ним не согласны?

Вдова Патнэм побагровела. Никто в общине не смел перечить ей – ни мужчины, ни тем более женщины. А эта девочка, эта падшая, стояла перед ней и цитировала Писание, глядя прямо в глаза.

– Дьявол тоже цитирует Писание, – прошипела она. – Когда ему это выгодно. Убирайся, говорю.

Эбигейл Уильямс, молодая девушка с острым, любопытным личиком, смотрела на Кристи со странным выражением – не то страха, не то зависти, не то восхищения. Она была ровесницей Кристи, но судьба её сложилась иначе: она была «чистой», ходила в церковь каждое воскресенье, опускала глаза при мужчинах и готовилась к замужеству с каким-то фермером, которого видела два раза в жизни. Сейчас, глядя на Кристи, она впервые подумала о том, что значит – быть свободной. Свободной настолько, чтобы позволить себе любить. Свободной настолько, чтобы заплатить за это цену.

Кристи шагнула к колодцу, обходя вдову. Та не посторонилась, и они столкнулись плечами. На миг их лица оказались рядом – молодое, бледное, с тёмными глазами, и старое, морщинистое, с глазами, выцветшими от ненависти.

– Ты пожалеешь, – прошептала вдова. – Я позабочусь об этом.

– Я уже жалею, – так же тихо ответила Кристи. – Но не о том, о чём вы думаете.

Она зачерпнула воды деревянным ковшом, который висел на цепочке, напилась, не чувствуя вкуса, и пошла дальше. К позорному столбу. К своему часу. К своей судьбе.

Площадь была пуста в этот ранний час, если не считать двух стражников, которые уже ждали её у столба. Столб был старый, тёмный от дождей и времени, с железными кольцами для рук, продетыми в грубо вытесанный деревянный брус. Рядом стояла небольшая деревянная платформа, на которую осуждённых ставили, чтобы всем было видно.

Кристи поднялась на платформу, не дожидаясь, пока её подтолкнут. Стражники удивлённо переглянулись – обычно приходилось тащить упирающихся, ловить падающих в обморок, утешать рыдающих. Эта женщина вела себя так, будто взошла на кафедру, а не на позор.

– Руки, – сказал один из стражников, тот самый молодой парень, что провожал её вчера. Он краснел, отводил глаза, не знал, куда деться от стыда.

Кристи протянула руки, и он защёлкнул железные браслеты на её запястьях. Холодный металл обжёг кожу, но она не вздрогнула. Только подняла голову выше и стала ждать.

Народ собирался медленно. Кто-то шёл мимо по делам и

останавливался, кто-то специально пришёл поглазеть, кто-то вёл детей – для науки. К полудню, когда солнце поднялось в зенит и даже сквозь тучи припекало по-осеннему ощутимо, перед платформой собралось почти всё население посёлка.

Кристи смотрела на них, и внутри у неё что-то переворачивалось. Эти люди знали её с детства. Они видели, как она росла, как училась читать по Псалтыри, как помогала матери по хозяйству, как впервые причащалась в двенадцать лет в белом платье, которое мать шила три ночи подряд. Они ели хлеб, который она пекла, лечились травами, которые она собирала в лесу, звали её, когда нужно было понянчить детей или помочь в трудную минуту. И теперь они стояли внизу и смотрели на неё, как на диковинного зверя в клетке.

Она искала среди них женские лица – те, что могли бы понять. Матери, которые знают, что такое любить до безумия. Жёны, которые хоть раз в жизни смотрели на чужого мужчину дольше, чем позволял приличия. Девушки, которые мечтали о любви, а не о ферме и корове в придачу.

Но женские лица были закрыты. Каменные маски праведности смотрели на неё, и в каждой маске горели глаза, полные того самого чувства, которое страшнее ненависти – самодовольства. «Я не такая, как она. Я чиста. Я спасена. Я выше».

Только одна женщина – старая, сгорбленная, почти слепая, которую звали тётушка Мэгги, жившая на подаяния общины, потому что её сын погиб на охоте, а невестка сбежа-

ла с торговцем, – только она смотрела на Кристи иначе. В её мутных старческих глазах стояли слёзы. Она не могла подойти, не могла сказать ни слова – её бы затоптали, заклевали, забили камнями за сочувствие падшей. Но она смотрела, и взгляд её был тёплым, как единственный луч солнца в этом холодном дне.

Кристи поймала этот взгляд и улыбнулась. Чуть заметно, одними уголками губ. Тётушка Мэгги перекрестилась – не осуждающе, а жалеючи – и отвернулась, побрела прочь, потому что дольше стоять и смотреть было опасно.

Больше никто не поддержал. Даже Марта Грей, стоявшая в первом ряду с ребёнком на руках, смотрела в землю, пряча глаза. Ребёнок заплакал – тоненько, жалобно, требуя еды, тепла, матери. Кристи рванулась всем телом, но железные браслеты удержали, впились в запястья до крови.

– Дитя хочет есть, – сказала она громко, обращаясь к Марте. – Покорми его. Не мори голодом.

Марта вздрогнула, подняла глаза, встретила взглядом с Кристи – и в этом взгляде было столько боли, столько мольбы, столько невысказанного, что Марта не выдержала. Она развернулась и ушла, унося ребёнка, унося своё сердце, которое рвалось на части от жалости и стыда.

– Гордячка, – прошипела вдова Патнэм, стоявшая рядом. – Даже сейчас не смиряется. Указывает. Приказывает. Горить ей в аду, в самом пекле.

– Она права, – тихо сказала молодая Эбигейл, но так, что-

бы никто не услышал. – Ребёнок голоден. Какая мать стерпит?

Вдова Патнэм резко обернулась, но Эбигейл уже смешалась с толпой, растворилась, как тень, оставив после себя только лёгкое облачко пара от дыхания.

Три часа у столба прошли как в тумане. Кристи не помнила, о чём думала, что чувствовала, были ли слёзы. Помнила только, что когда стражники отомкнули браслеты и помогли сойти с платформы, ноги не держали, и пришлось опереться на чьё-то плечо – кажется, того же молодого парня, который краснел каждый раз, когда смотрел на неё.

Он довёл её до дома, молча, не поднимая глаз. У двери остановился, хотел что-то сказать, но не решился. Только сунул в руки узелок с едой – хлеб, кусок сыра, яблоко – и убежал, как от чумы.

Ночь опустилась на посёлок быстро, как всегда осенью. Кристи сидела на лавке, завернувшись в одеяло, и смотрела на тлеющие угли в очаге – кто-то (тот же парень? Марта? тётушка Мэгги?) принёс дров и развёл огонь, пока она была у столба. Маленький жест милосердия, за который можно было поплатиться, если бы узнали.

Мысли текли медленно, как патока, и каждая была горькой на вкус.

Она думала о Дугласе. Где он сейчас? Что делает? Молится в своей церкви, готовит воскресную проповедь? Или сто-

ит у окна и смотрит в темноту, думая о ней? Или спит спокойно, уверенный, что его тайна умрёт вместе с её молчанием?

Она думала о ребёнке. Маленький, тёплый, с её глазами и, кажется, с ямочкой на подбородке, как у Дугласа. Он спал сейчас в чужом доме, на чужих руках, пил чужое молоко. Узнает ли он её, когда вырастет? Будет ли знать, что его настоящая мать – не Марта Грей, а женщина с алой буквой, которую дети дразнят и от которой взрослые отворачиваются?

Она думала о грехе. О том самом грехе, за который её осудили. Было ли это грехом? В церкви учили, что плотская любовь вне брака – мерзость перед Богом. Но Бог дал им эту любовь. Бог соединил их сердца. Бог позволил им встретиться в тот день, когда она пришла в церковь, усталая и печальная после смерти отца, а он говорил проповедь о милосердии, и слова его падали на душу, как дождь на иссохшую землю.

– Господи, – шептала она в темноту, глядя на угли. – Я не понимаю Твоих законов. Я не понимаю, почему любовь – это грех, а ненависть, которую я видела сегодня на площади, – это добродетель. Я не понимаю, почему Ты позволяешь им судить меня, когда они сами... когда он сам...

Она осеклась. Нет. Она не выдаст его даже в молитве. Даже Богу. Потому что если Бог не видит сам – значит, Ему не нужны её слова.

Где-то в лесу завыл волк. Звук был тоскливый, долгий,

и Кристи вдруг почувствовала странное родство с этим зверем. Он тоже был изгоем. Он тоже жил на краю, во тьме, в холоде. Он тоже выл от боли, которую никто не мог унять.

Она встала, подошла к двери, приоткрыла её. Ночной воздух ворвался внутрь, пахнувший прелыми листьями, морозцем и свободой. Где-то там, за лесом, за горами, были другие земли, другие люди, другая жизнь. Где не было позорных столбов и алых букв. Где можно было любить и не прятаться.

Но как туда добраться? С ребёнком на руках, без денег, без защиты, без мужа? Женщина одна в лесу – это добыча для зверей, для индейцев, для своих же, если они её встретят. Смерть.

Она закрыла дверь, вернулась к очагу. Угли почти погасли, и в доме становилось холодно. Кристи подбросила последнее полено, села на пол, прижавшись спиной к тёплым камням очага, и закрыла глаза.

Завтра будет новый день. И послезавтра. И ещё много дней, и все они будут похожи друг на друга, как капли дождя в осеннем ливне. Она будет носить эту букву, будет терпеть взгляды, будет молчать. А потом, может быть, что-то изменится. Или не изменится. Или она умрёт, и тогда всё кончится само собой.

– Я не сдамся, – сказала она вслух, и слова прозвучали в пустоте твёрдо, как клятва. – Я не сдамся. Я выживу. Я выращу своё дитя. Я дожусь его. Или он придёт ко мне, или я уйду к нему. Но мы будем вместе.

Она не знала, сколько просидела так, глядя на огонь и не видя его. Может быть, час. Может быть, два. За окном давно стало темно, и даже волки затихли, устав выть.

Стук в дверь был таким тихим, что сначала она подумала – показалось. Но стук повторился, и тогда Кристи встала, подошла к двери, прислушалась.

– Кто? – спросила она шёпотом.

Ответа не было, но она вдруг поняла. Сердце забилося где-то в горле, руки задрожали. Она отодвинула засов, и дверь приоткрылась, впуская холодный воздух и тень, которая скользнула внутрь быстрее, чем можно было разглядеть.

Дуглас.

Он стоял перед ней в тёмном плаще, с капюшоном, надетым на глаза, и молчал. Потом поднял руки, откинул капюшон, и она увидела его лицо – бледное, измученное, с красными от бессонницы глазами.

– Кристи, – выдохнул он, и в этом одном слове было столько всего, что она чуть не упала. – Прости меня. Прости.

Она не ответила. Стояла и смотрела на него, и в голове было пусто, только сердце колотилось, как бешеное, готовое выскочить из груди.

Он шагнул к ней, протянул руки, но она отшатнулась.

– Зачем ты пришёл? – спросила она, и голос её был холоден, как ночной воздух за дверью. – Чтобы посмотреть на своё творение? На алую букву? Нравится?

Он опустил руки, будто его ударили. В глазах его мелькнула такая боль, что Кристи на миг стало жаль его. Но только на миг.

– Я пришёл потому, что не мог не прийти, – сказал он тихо. – Я не спал эти дни. Я не ел. Я сходил с ума, глядя, как тебя уводят. Я стоял в зале, слышал каждое слово. Я видел, как ты молчишь. И я... я понял, что я трус. Самый последний трус на этой земле.

– Ты понял, – эхом повторила Кристи. – Понял. А дальше? Что дальше, Дуглас? Ты выйдешь завтра на площадь и скажешь им: это я? Ты встанешь рядом со мной у столба? Ты возьмёшь на руки своего ребёнка?

Он молчал. Молчание было ответом.

– Нет, – сказала Кристи. – Не выйдешь. Не встанешь. Не возьмёшь. Потому что ты – священник. Потому что твоя паства сожрёт тебя живьём, если узнает. Потому что ты боишься Бога больше, чем любишь меня.

– Я не боюсь Бога, – возразил он, и в голосе его впервые прозвучала сила. – Я боюсь, что моё падение убьёт веру в этих людях. Они смотрят на меня, Кристи. Они молятся моими словами. Они каются передо мной. Если я паду – они подумают, что всё было ложью. Вся их вера, вся их надежда на спасение. И многие из них не выдержат этого. Они озлобятся. Они ожесточатся. Они потеряют последнее, что у них есть.

– А я? – спросила Кристи. – Я не потеряла? У меня было

всё, и я потеряла. Дом, семью, ребёнка, имя. У меня осталась только буква. Алая буква на груди. И ты пришёл смотреть на неё?

Дуглас шагнул к ней, схватил за плечи, прижал к себе. Она чувствовала, как он дрожит, как часто бьётся его сердце, как пахнет от него дымом и потом – он шёл через лес, рискуя жизнью, чтобы увидеть её.

– Я люблю тебя, – прошептал он ей в волосы. – Я люблю тебя больше жизни, больше веры, больше Бога. И если бы я мог – я бы всё отдал, чтобы быть с тобой. Но я не могу. Не сейчас. Не так. Дай мне время. Дай мне найти выход.

– Выход, – горько усмехнулась Кристи, но не отстранилась. – Какой выход? Убить всех, кто видел мою букву? Сбежать в леса и жить там, как звери, вечно прячась? Ты же не выживешь в лесу, Дуглас. Ты проповедник, а не охотник.

– Я научусь, – сказал он. – Ради тебя научусь всему.

Она подняла голову, посмотрела ему в глаза. В полумраке очага они казались чёрными, бездонными, полными той самой тоски, которую она чувствовала сама.

– Поклянись, – сказала она. – Поклянись мне чем-то, что не сможешь нарушить. Поклянись, что придёшь за мной. Что не оставишь меня здесь одну с этой буквой. Что мы будем вместе, когда всё кончится.

Он опустился на колени прямо на холодный земляной пол, взял её руки в свои, прижался губами к её ладоням.

– Клянусь жизнью, – сказал он тихо, но твёрдо. – Клянусь

душой. Клянусь нашей любовью и нашим ребёнком. Я приду за тобой. Я не оставлю тебя. Мы будем вместе. Если не на этой земле, то на той, где нет судей и алых букв.

Кристи смотрела на его склонённую голову, на светлые волосы, тронутые сединой у висков, на худые плечи, и чувствовала, как тает лёд в груди, как возвращается тепло, как оживает надежда.

– Встань, – сказала она. – Не надо стоять на коленях. Я не Бог, чтобы передо мной падать ниц.

Он поднялся, и они стояли друг напротив друга, разделённые всего одним шагом, но чувствуя, что между ними – целая пропасть. Пропасть лжи, страха, обстоятельств, которую не перейти, даже если очень захотеть.

– Уходи, – сказала Кристи. – Скоро рассвет. Тебя увидят.

– Я приду снова, – пообещал он. – Как только смогу.

– Приходи, – кивнула она. – Я буду ждать.

Он шагнул к двери, но на пороге обернулся.

– Как назовём его? – спросил он. – Нашего сына?

Кристи впервые за долгие дни улыбнулась.

– Надежда, – сказала она. – Если это будет девочка – Надежда. Если мальчик – тоже Надежда. Потому что она – всё, что у нас осталось.

Дверь закрылась. Шаги затихли. Кристи осталась одна, но теперь в доме было теплее, чем час назад. Огонь в очаге почти погас, но в груди горел другой огонь, который не мог погасить никакой ветер.

Два года назад, весной, Кристи Лопас впервые увидела нового священника.

Отец её умер за месяц до этого, в марте, когда снег уже начал таять, но земля была ещё твёрдой, как камень. Хоронили его наспех, потому что ждать нельзя было – тело начало портиться, а ледника в посёлке не было. Кристи стояла у могилы и смотрела, как гроб опускают в мёрзлую землю, и не плакала. Слезы кончились за те долгие три недели, что отец угасал, сгорая от внутреннего жара, который никакие травы не могли сбить.

Мать умерла, когда Кристи была ещё ребёнком. Отец остался один, вырастил её, как умел, – строго, но справедливо, с молитвой и работой. Она была ему и дочерью, и хозяйкой, и утешением в старости. Когда его не стало, Кристи осталась совсем одна в маленьком доме на краю посёлка.

В первое воскресенье после похорон она пришла в церковь. Надо было идти – так требовал обычай, так требовала община, так требовал Бог, которому она молилась каждый день, прося сил пережить эту потерю.

Церковь была полна, как всегда по воскресеньям. Пахло ладаном, воском и сырой одеждой – весна в этом году выдалась дождливая. Люди стояли плотно, плечом к плечу, и Кристи притулилась сзади, у самой двери, чтобы не привлекать внимания и чтобы в случае чего можно было выскользнуть незаметно.

На кафедре поднялся новый священник. Кристи слышала о нём – Дуглас Рейн, молодой, из Бостона, присланный вместо старого пастора, который уехал в Англию по семейным делам. Говорили, что он учёный, что знает греческий и латынь, что пишет проповеди сам, а не читает по книгам. Говорили по-разному, но Кристи не слушала сплетни – ей было не до того.

И вот он поднялся на кафедру, и она увидела его лицо.

Ему было тогда тридцать два. Высокий, худой, с бледным лицом и светлыми волосами, зачёсанными назад. Глаза у него были серые, почти прозрачные, как вода в горном ручье, и когда он смотрел на прихожан, казалось, что он видит каждого насквозь.

Он открыл Библию, но не стал читать. Вместо этого посмотрел прямо на неё – Кристи могла бы поклясться, что именно на неё, хотя стояла она в самом дальнем углу, – и заговорил.

– Сегодня я хочу поговорить о милосердии, – сказал он, и голос его был негромким, но каким-то образом заполнял всё пространство церкви, проникал в каждую душу. – О том милосердии, которое Бог являет нам каждый день, и о том, которое мы должны являть друг другу. Ибо сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Не сказано: «Блаженны праведные». Не сказано: «Блаженны непогрешимые». Сказано: «Милостивые».

Кристи слушала, и каждое слово падало в неё, как семя в

благодатную почву. Она думала об отце, о его долгой болезни, о том, как она ухаживала за ним, как боялась, что делает что-то не так, как молилась о его выздоровлении и как Бог не услышал. И вдруг поняла: Бог услышал. Просто ответил не так, как она ждала. Ответил смертью, но смерть эта была милосердной – отец больше не мучился, не кричал по ночам от боли, не просил воды, которую уже не мог глотать.

Слёзы, которых не было на похоронах, хлынули сами собой. Она плакала тихо, беззвучно, уткнувшись лицо в рукав, и никто не видел, кроме него. Священник, говорящий о милосердии, смотрел на неё с кафедры, и в глазах его было что-то такое, от чего сердце её забилось быстрее.

После службы она хотела уйти незаметно, но он стоял у выхода и каждому подавал руку, каждому говорил несколько слов. Когда очередь дошла до неё, он задержал её ладонь в своей чуть дольше, чем следовало.

– Ты – дочь Томаса Лопаса, – сказал он не спрашивая, а утверждая. – Я слышал о твоей потере. Мои соболезнования.

– Спасибо, – прошептала Кристи, не поднимая глаз.

– Ты плакала во время проповеди, – продолжил он. – Я надеюсь, это были слёзы утешения, а не боли.

Она подняла глаза и встретила его взгляд. Серые глаза смотрели серьёзно, без той снисходительности, с какой обычно смотрят на плачущих женщин.

– И те, и другие, – ответила она честно. – Но утешения больше. Спасибо вам за эти слова. Они... они нужны были

мне.

– Бог всегда даёт нам то, что нужно, – сказал он. – Иногда мы просто не сразу это понимаем.

Он отпустил её руку, и Кристи вышла на улицу, в серый весенний день, и долго стояла, вдыхая влажный воздух и чувствуя, как внутри неё что-то меняется. Что-то важное. Что-то, чему она не могла найти названия.

Потом, через много месяцев, она поймёт: это была встреча. Встреча двух душ, которые искали друг друга в темноте и наконец нашли.

После той первой встречи прошло несколько недель. Кристи приходила в церковь каждое воскресенье, и каждое воскресенье ловила на себе взгляд священника. Он никогда не задерживался на ней дольше, чем на других, но она чувствовала: он видит её, помнит о ней, ждёт.

Однажды, в четверг, когда она собирала травы на опушке леса, он появился из-за деревьев – без предупреждения, без объяснений, просто вышел на тропинку и остановился в двух шагах.

– Я искал тебя, – сказал он просто, будто это было самым естественным делом в мире.

– Зачем? – спросила она, и сердце её забилося где-то в горле.

– Чтобы поговорить. Не в церкви, не при людях. Просто поговорить.

Они сели на поваленное дерево, и он рассказал ей о себе. О Бостоне, где он вырос, о родителях, которые умерли от лихорадки, когда ему было двенадцать, о годах учения, о сомнениях в вере, которые мучили его по ночам, о том, как он решил стать священником, потому что это был единственный способ оставаться честным с самим собой.

– Я думал, что, став служителем Бога, я найду ответы, – говорил он, глядя куда-то в лес. – Но ответов нет. Есть только вопросы. И вера, которая держит тебя над пропастью.

– А если вера не держит? – спросила Кристи.

Он посмотрел на неё долгим взглядом.

– Тогда падаешь. И летишь. И надеешься, что внизу окажется кто-то, кто поймает.

Это был первый раз, когда она подумала о нём не как о священнике, а как о мужчине. Как о человеке, которому тоже больно, тоже страшно, тоже одиноко.

После этого они стали встречаться регулярно. Всегда в лесу, всегда тайно, всегда на короткое время – час, два, не больше. Он рассказывал ей о книгах, которые читал, о мыслях, которые его мучили, о сомнениях, которые не давали спать. Она рассказывала ему о травах, о лесных зверях, о том, как жила с отцом, о своей тоске по матери, которой почти не помнила.

Лето было тёплым, долгим, щедрым на солнечные дни и звёздные ночи. Они встречались на закате, когда тени становятся длинными, и расходились в темноте, когда первые

совы начинали свою охоту. Никто не видел, никто не знал, никто не догадывался – им казалось, что их тайна защищена самим Богом, который понимает любовь лучше, чем люди.

Первый поцелуй случился в июле, в самый разгар сенокоса. Воздух пах скошенной травой, мёдом и чем-то ещё, сладким и тревожным одновременно. Они стояли на поляне, окружённой высокими соснами, и смотрели, как солнце садится за горизонт, окрашивая небо в алый цвет.

– Кристи, – сказал он, и голос его дрогнул. – Я не должен этого говорить. Я не имею права. Но я люблю тебя. Я люблю тебя так, как не должен любить ни один священник.

Она повернулась к нему, и в глазах её отражался закат.

– А я люблю тебя, – ответила она просто. – И мне всё равно, должен ты или нет.

Он поцеловал её, и этот поцелуй был слаще любого греха, о котором она когда-либо слышала в проповедях.

Осенью, когда листья пожелтели и ночи стали холодными, она поняла, что ждёт ребёнка.

Кристи ждала его на обычном месте, у старого дуба, где они встречались каждый раз, но он не пришёл ни в тот день, ни на следующий. На третий день она пошла в церковь, хотя это было опасно, хотя её могли заметить, хотя внутри у неё всё дрожало от страха и надежды.

Он стоял у алтаря, один, без прихожан, и смотрел на распятие. Услышав шаги, обернулся, и она увидела его лицо –

осунувшееся, бледное, с тёмными кругами под глазами.

– Ты знаешь, – сказала она, и это был не вопрос.

– Да, – ответил он. – Ты сама сказала в прошлый раз. Я думал. Я молился. Я просил Бога указать мне путь.

– И что он указал?

Он молчал долго, очень долго. Потом подошёл к ней, взял за руки.

– Я не знаю, Кристи. Я не знаю, что делать. Моя вера говорит одно, моё сердце – другое. Ярываюсь между ними, и эта боль сильнее любой, что я испытывал в жизни.

– Ты боишься, – сказала она. – Ты боишься потерять всё. Своё место, свою паству, свой сан.

– Да, – признался он. – Боюсь. Но больше всего я боюсь потерять тебя. И при этом я боюсь, что, выбрав тебя, я потеряю себя. Потому что я – священник. Это не работа, Кристи. Это то, что я есть. Если я перестану быть священником, кто я тогда? Просто человек, который любит женщину. А этого мало.

– Мало? – переспросила она, и в голосе её зазвенела обида. – Мало – любить? Мало – быть отцом своего ребёнка? Что же тогда много? Спасать души, которые к тебе приходят? Учить их, как жить, когда сам не умеешь?

Он закрыл глаза, и по щеке его скатилась слеза – первая слеза, которую она видела у него.

– Я не знаю, – прошептал он. – Я ничего не знаю. Я только знаю, что люблю тебя. И что эта любовь – единственное, что

у меня осталось настоящего.

Она обняла его, прижалась к груди, чувствуя, как бьётся его сердце.

– Тогда будь со мной, – сказала она. – Не надо ничего решать сейчас. Просто будь со мной. Мы что-нибудь придумаем.

Но они не придумали. Время шло, живот становился заметным, и слухи поползли по посёлку, как змеи по траве. Кто-то видел, как она выходила из леса поздно вечером. Кто-то заметил, что священник слишком часто ходит на прогулки один. Кто-то начал считать месяцы.

В ноябре, когда снег уже выпал и морозы сковали землю, старейшины вызвали Кристи на первый допрос. Она молчала. Она обещала молчать, и молчала, даже когда они кричали, даже когда угрожали, даже когда сулили смягчение приговора.

Дуглас в это время сидел в своей комнате при церкви и смотрел в одну точку на стене. Он слышал, как внизу собираются люди, как обсуждают её грех, как требуют наказания. Он должен был выйти, должен был остановить их, должен был сказать правду. Но ноги не слушались, язык прилип к гортани, и только слёзы текли по лицу, падая на раскрытую Библию, размывая буквы.

Ребёнок родился в феврале, в самую лютую стужу, когда метели завывали за стенами и даже волки прятались в своих

логовах. Кристи принимала роды сама, потому что никто не пришёл помочь – повитуха отказалась, соседки отвернулись, только тётушка Мэгги, рискуя всем, принесла тёплую воду и чистые тряпки.

Мальчик. Кристи назвала его Надеждой, как и обещала, хотя имя это было необычным для мальчика. Надежда – значит, будет надежда. Значит, не всё потеряно.

Первые недели он был здоров, сосал грудь жадно, кричал громко, требуя внимания. Кристи смотрела на него и видела Дугласа – тот же разрез глаз, тот же изгиб бровей, та же ямочка на подбородке. Она прижимала его к груди и шептала: «Твой отец любит тебя. Он просто не может сейчас быть с нами. Но он придёт. Обязательно придёт».

В марте, когда снег начал таять и появились первые проталины, Надежда заболел. Сначала просто капризничал, плохо спал, потом поднялась температура, потом начался кашель – сухой, надсадный, раздражающий маленькое горло.

Кристи лечила его травами, как учила её мать, как она сама научилась за годы жизни в лесу. Ромашка, мать-и-мачеха, липовый цвет – всё, что было в её запасах. Но температура не спадала, кашель усиливался, и мальчик становился всё слабее, всё бледнее, всё тише.

Она послала записку Дугласу с той же тётушкой Мэгги. «Твой сын умирает. Приди, если можешь. Если нет – прощай».

Он пришёл ночью, в метель, которая неожиданно разыгра-

лась в конце марта, заметая следы, заметая надежды. Вошёл, стряхивая снег с плаща, подошёл к колыбели, долго смотрел на маленькое личико, такое бледное, такое беззащитное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.